

– Как вы полагаете, у них есть ментоловая резинка?

Она едва помещалась в кресло. Оплывшие щеки, опухшие глазки, жесткие губы – все, что вы ненавидите в женщинах, но не можете признаться в общественном месте. К тому же от нее исходил чудовищный запах – смесь чеснока, сала и да, ментола. И улыбается, криво раздвигая губы. Мегера. Что она хочет – жвачку, презерватив? До чего нелепая баба. Хотела ж я выбрать кресло без соседей, чтобы не попасть в такую ловушку. Могла выбрать, и ее бы тут не было, ее бы отправили куда-нибудь, ее бы не было здесь вообще.

Хотела я выбрать другой порядок. У меня был тяжелый день, устала рука, такой тяжелый мешок. Сидеть бы сейчас одной на целом ряду,

нанизывать буквы на нитки, выбирать цвет и порядок, перемешивая и собирая заново буквы в слова.

Нет никакой причины и никакого порядка в именах и событиях. Смотри в отпечатки вокруг карусели, начала не обнаружить.

Центростремительная сила целуется с центробежной, откровенный игнор движению напрямую, по диаметру светящихся дребезжащих кадров, манекенами проскальзывающих перед глазами, не забывая попросить извинения всякий раз, когда растекаются по перемазанному сажей и паутиной лицу. Где она карабкалась, по каким подвалам и чердакам пролезала? Кружевные лошадки разбегаются по раздробленным в пыль развалинам горной породы, чтобы собраться в восходящих легких потоках над волнами, скрытыми временной тьмой. Не угадать ритм, не услышать окончания такта, сколько ни веди пальцем по спиральям пустой ракушки, сколько ни провожай вздохами завитушки дыма над берегом, вдали от воды. Случайные закономерности траекторий по замкнутым многомерным улицам, ошибочно изображенным на картах, которые раздавал нищий на перекрестке. Неизвестно откуда возникшая флейта повторяет мелодию музыкальной шкатулки, вторящей заикающейся грампластинке, записанной свихнувшимся меломаном со звуков шарманки на груди старика, спящего на перекрестке и сквозь сон вращающего ручку смехотворного механизма. Ах, мой милый августин, взлетает над пыльными этажами, отвергая впечатанные в хромосомы законы неопределенности и гравитации, утачившие под отвал и тех, и других.

– Вы простите, от меня наверно ужасно пахнет.

Разумеется. Сама знаешь. И улыбка у тебя ужасная, тоже в курсе.

– Будьте добры, у вас есть болеутоляющее? Панадол, что угодно, что у вас есть, принесите, пожалуйста.

Стюардесса побежала за таблетками. Жирная, и еще наелась чеснока перед полетом. Где-то жалко, голова у человека болит, слезы на глазах, но такая жирная баба. Еще какой-то запах, секса, она действительно хотела презерватив? Эта тетка пахнет сексом или по меньшей мере мастурбацией. От нее просто разит, или это духи такие, ферромоны, тестостероны, не пытайся распылять их на мне.

А голос глубокий, сильный, вибрирует, рассылет россыпь обертонов, отряды лучников, скачущих по песку в сияющих плетеных кольчугах, умело и согласовано, как пожарники, без синкоп. Так ты певица?

Знакомое состояние, два часа после концерта, нужно выговорится в кого угодно, в подъезде, под аркой, в вагоне поезда, в самолетном кресле,

удерживаемом на весу непрерывным вращением лопастей, так и тебе сейчас необходимо болтать, чтобы определить себя, сохранить себя на лету, посредством горсти песка, брошенного на намагниченную жаровню, засыпать огонь, сжигающий неопытных ящериц и молодых черепах. Когда обнажились катакомбы колодцев, открыв сонмы глиняных статуй, то ли армия мандаринов, то ли запасы големов в пражских подвалах, только речью держится твое существо, ищущее просвет между недвижимыми истуканами. Пока в их пустых черепах не прорастут зубы драконов, пока на проявится огненная записка, пока не засыпят твои слова песчинками смертную пропасть, не останавливай речь. Не прекращай говорить, иначе остановится сердце.

– Понимаете, я давно не ем мяса, но тут пришлось. Пришла в гости, к старикам, старой супружеской паре, у меня не было иного выхода. Старуха принесла борщ. Я не могла отказаться, это невежливо. Только хвалила – как вкусно вы приготовили, а она еще добавила на тарелку. Уже знала, вечером заболит голова, помню, в дорожном наборе упаковка таблеток. Думала, лягу высоко на подушку, положу панамакс под глаза, буду ждать, когда белые кругляшки доползут до губ, до гортани, смешиваясь с соленым ликером. Мне нельзя мешать таблетки со спиртными напитками. Но нужно было вставать и лететь.

Она снова смеется. Эти откровения случайным попутчикам. Раньше в поездах доставали курицу, ломали на вертком столе, теперь в самолете, болтать без конца. Можно, конечно, надеть наушники, но я не могу так, это невежливо. Киваю, слушаю, пока ей не надоест.

– Такой, знаете, дом. За стеной заходится в утробном вое водопровод и столетняя канализация. Я зашла вслед за стариками в опущенные ржавчиной ворота, и в еще одни, поднялась на третий этаж. На лестнице пахло деревом, как в детстве, вы помните? У вас была тетушка, чтобы жила в старом доме, и в прихожей стоял запах дерева? Дальше, можете угадать: не снимайте туфли, малиновый узор ковра, зеркало, не глядеть в глаза никому, просторная комната, покрытый скатертью стол. Старик попроще, он болтает, не глядя в глаза. А старуха глядит. Солнце заливало мне руки, по шею, граница света перерезала горло, как перерезает его капроновая леска, подвешенная к антикварной хрустальной люстре, купленной специально для этого случая. Позерка, скажете? Просто почувствовала себя на чужом месте. А глаза в тени, очень удобно.

– Понимаете, чего я испугалась? Что они догадаются, кем я себя представила, на каком месте могла бы я быть. Уже не могла – теперь,

когда все карты сданы и разыграны. Мы бы хотели, сказала старуха, чтобы вы рассказали о нем, вы может быть знаете, чего мы не знаем. Что-то должна была говорить. В хрустале дрожала холодная водка, я закашлялась, закрывая створки воспоминаний. Нельзя же рассказывать, подняв бокал, о птицах, носившихся вдоль железной дороги.

— К тому же я повторяла в уме такты проделанного маршрута: прямо от главного входа, мимо панских и пропанских надгробий, слева под склоном аллея апостериори назначенных революционеров-героев, затем наверх, в стороне от дорожки сплетенье ветвей, березы и елки, мусорные кусты, едкий дым, старик и старуха, перевязанная в пыльной талии до хрипа, за столбом повернуть направо, стаккато капустниц над вылинявшим букетом, еще направо до подобия акведука над высохшей восьмеркой пруда, донизу, до растрескавшихся и слоющихся плит, увитого ненасытной глицинией. Взгляд по привычке ищет закономерность, последовательность, доминанты и терции, знаки и сочетания во всемогущих и жадных спиралях. Находит же на каждом шагу только знаки отличия и вычитания, гранит, плоские грани, удушливые восходящие кольца. Возвращаясь, запоминала путь от ворот до ограды, запомнила и забуду, больше никогда не пройду по этой тропе. Самолет задрожал и пошел на взлет. Засверкали редкие лампочки, складываясь в искусно начерченный иероглиф, который я не успеваю осмыслить, перелистывая страницы, проутюженные до хруста взлетной дороги, в темноте засыпаемой снежинками, изгибами дыма над звенящим песком. Если бы не болтающая без умолку тетка, заснула бы уже. Какими еще откровениями она делится, какими душными воспоминаниями?

— Я не забуду запахи, пыль бордового велюра перед кинофильмом. Что за вонь здесь, подруга моей сестры морщила нос. Она сидела в соседнем кресле в старательно изысканном кинотеатре. Такие были в центре города в выжатые поздне-советские годы, призрачная копия никогда не виденного великолепия. Я прижималась к нему плечом в самолично раскрашенной майке, молодой грудью без лифчика, бедром в джинсовых шортах, оборванных по дуге, отделяющей загорелые ноги от задницы. Показывали эротику, шокирующую уважаемых зрителей, поседевших на реальностях социализма. Под смоковницами и простынями, однако, таилась фига, скрывающая откровение иного рода. Вся затея московского кинотеатра дремучего почти девяностого года задумана была ради показа фильма, снятого по роману, написанному по мотивам реальных событий, через растянутый на десятилетия аналог которых нам

только предстояло пройти, мне, ему, моей сестре, подруге моей сестре, у него в тот год были билеты на всех. Подруга кривилась, какая вонь! Вылезая с кровати, я не приняла душ, а шорты, обнимающие поджарую попу, доходили до промежности лишь парой ниток и не составили преграду семени, в обилии извергнутому в тело и стекающему уже по ляжкам, на бордовое кресло, на ковер, на жадную землю, вычерчивая белые иероглифы по бордовому фону, высыхающие ручьи, привлекая ос и раненых птиц.

– Вы еще молодая женщина, сколько вам? У вас есть подруги? Я уже знаю, что нельзя ничего предвидеть, вообще ничего нельзя предсказать. Почему у меня один ребенок, у сестры, обещавшей стать старой девой, утонуть в потоке уравнений и формул – по одному ребенку от каждого из четверых мужей, закрутивших ее в центрифуге матримониального калейдоскопа, а у той воздушной подруги – ни одного ребенка и муж, тяжело наливавшийся паленой водкой все четверть века, пока высыхало ее женское естество, до тех пор, пока семейка саламандр не свила в нем гнездо, спалившее ее изнутри, но раньше в обыкновенном московском пруду утонул ее муж.

– Знаете, что я еще помню? Трех нимф, обнявшихся голышом, как богини на знаменитой картине, как все эти скульптурные группы под открытым куполом неба, под мраморной аркой, под переливами резных листьев. Я прижалась к нему, напуганная их совершенством. Мы проходили мимо по пляжу, песок скрипел под ботинками, а он засмеялся: красота, если б задницы не обгорели. У меня звенело в ушах, мы только сошли со ступеней, помятые после перелета и трехчасовой давки в троллейбусе. Я не люблю летать, плохо переношу набор, потом снижение высоты, разламывается голова, лавина крови в ушах, головокружение, обвал. Добрались, стояли дикарями, палаткой, без душа, в диком лагере, в тени скалы, под призраком колоннады, оставляющей хромающие вытянутые тени на рассветном песке. Вдвоем с ним смотрели, как крошится мрамор, как на закате стеклянные кубики ударяются о восходящие наклонные плоскости, замаскированные капканы свиданий, как стрелы дождя связываются в узел, как сплетаются пальцы, как сворачивается, сматывается в тикающую спираль настоящее, чтобы развернуться и выбросить нас наружу.

– Что мы там пили? Чем пользовались для предохранения? Везде очереди, за вином ломятся, как за билетами на Таганку, а в аптеке я не смогла сказать, что мне нужно, и ткнула в тубик, оказавшийся то ли мазью от геморроя, то ли от ожогов. В любом случае, остались без

защиты, за восемь дней четыре привезенные резинки по счету. На пятый раз я спросила, откуда еще одна, а он успокоил – ничего, я простирнул. Отсмеявшись, мы все же ее натянули, от занятий сексом нас ничто не могло отвратить, в палатке, под небом, на пляже, в чистом виде секс он же бич.

– Еще прошлое прошлое. Сверху было отлично видно. В новогоднюю ночь мы стояли с ним на балконе, глядя вниз с двенадцатого этажа. Подруга моей сестры снимала квартиру на последнем этаже высотного здания у кольцевой дороги, в квартале от кладбища, через дорогу от рынка, над пролежнями старого города, расползающегося по окраинам, как лопнувшая перегретая туша. Стандартная комната с кроватью и чешской стенкой, колонна хрустальных бокалов кристаллическим строем отправляется в зазеркалье. Город лежит контурной картой, расчерченной на квадраты пунктиров следов на снегу, решетчатым лабиринтом, по которому семят уверенные насекомые, заучившие рикошеты падений и отражений. За стеклом, за шорохом занавески отсвечивает красным пластиковое ведро с накренившейся в угол елкой. Он спускался искать под снегом песочницу и заблудился на ложных изломах улиц между сходными многоэтажками, застрял, остался снежной скульптурой в ряду прочих снеговиков с ржавыми пуговицами. Мы едва разыскали его, разбили лед острым ножом, выкопали его из сугроба, напоили отвратительной польской водкой, с ложечки, иначе никто не пил эту гадость. После всполоха часовых механизмов, просиявшего отражениями над хрусталем, мы с ним снова курили снаружи, под вялыми стрелами ночи, заполняющей топь колючей махровой вязью, пока силуэты подруги с ее будущим мужем растворялись в тени на кровати. Водка, даже самая мерзкая, кончилась, мы мерзли, встречая влажный новогодний рассвет на балконе, и развлекались выдумыванием имен пролетающим мимо птицам: жабохвост красноклювый, хрусть прожорливый обыкновенный, морзянка-высочка, гриф секретности повышенной прелести, подоконник болотный, клювохвостошип заднеплечный... Разогрелись, обнаглели, вломились внутрь, не глядя на задремавшую в упоении пару, задыхаясь от будущего, наползающего на нас сквозняком последней расплаты.

– Старики меня забросали вопросами: вы давно его знали? Когда в последний раз виделись? Еще побудете с нами? Что можно было ответить? Извините, дела, важные встречи, скоро концерт, к которому нужно готовиться? В отражении трамвайного стекла играла повторяющаяся мелодия, под электрическими дугами звякали

погремушки, собираясь в цветное узорчатое покрывало. После кладбища вместе зашли в трамвай. Конечно, сказала, еще побуду, никуда не спешу. Проехали перекресток с башней, подслушивающие часы, застывший в приапическом спазме шпиль. Я узнавала дорогу, по которой добиралась неделю назад от вокзала. И шпиль. Я видела этот шпиль из вагона поезда другой яркой и хрупкой ночью, лет тридцать назад, в потоке звезд и синих огней, обвивающих его осьминожьими щупальцами, в клочья разрывающих доверчивые рыхлые медузы туч. К тому лету мы уже разошлись, но его рассказ я вспомнила, когда поезд встал на вокзале, последняя остановка перед границей, на поезде, через Европу, еще цельный Союз. Я не выходила тогда из вагона за скользкими огурцами и курицами, которые совали в окна неряшливые жирные бабы, поясками удерживающие телеса в границах цветастого хлопкового торжества.

– Остались, знаете что? Через тридцать лет остались медузы. Собрались заново в булькающие болота, расплылись поверх рельс, поверх черепичных крыш, поверх застывшего в безобразии шпиля. Трамвай ковылял по линейкам рельс, по-над имперской брусчаткой, пробирался затвержено и неторопливо до перекрестка, где параллельные колеи встречались у рыхлой канавы. Я глядела в окно, между уснувших мух, потеков и трещин, и замечала неунывающие тирады распродаж, пыльные качели в наледи имен и отпечатков влюбленных задов, отблески завядших настурций, позабытый орнамент над воротами госпиталя, увиденного издалека, в осенней сутолоке листьев, ветра и света. Серое небо между серыми зданиями, скрежет и писк, ломкая кожа, синька несбывшихся воспоминаний, стаккато ветвей, заслоняющих окна, не проходящий кашель, в нем удобно прятаться, словно в нору под снегом, пересидеть взгляд старухи, глядящей сквозь меня, словно в раскрытую дверь.

– Изнутри меня текла вязкая раздавленная земляника, высвобождая меня на середине зимы над спящими этажами. Крупный план его вдохов, его губ в моем соке, моем песке, наконец я произношу это, песчаные губы на берегу океана, там, над окраиной города, за наледью балконной решетки, за занавеской, мерцающей снулым небом, под серыми волнами, громоздятся, поднимаются, опрокидываются, обламываются у входа. Он повторял в том же беспорядочном строе прикосновения, всхлипы, стоны, выдворяя меня к разлому в моей личной копии океана, смыкавшегося вокруг его ржавых губ, приближая выдох, провал, гулкий стук из сердцевины белого сна.

– Вы считаете, я сочиняю? Подгребаю под себя воспоминания, оставшиеся лишь у меня? Но кто поймает меня на ложных присосках воспоминаний? Не вы ведь. Я могу говорить, что угодно. Он там, за акведуком, увитом глициниями, подруга сестры за другим, а я так и не спела ей, не спела о ней, а сестра вчера прислала мне дюжину фотографий младенца, просвечивающего перламутровыми щеками на ласковой простыне, почти стеклянные пальчики, ухватились за новую прочность, под блеском цифрового внимания. Еще один внук в расходящихся тропинках родства. Все забыли, никто не поймает меня, никто не поймет.

– Когда мы расставались, я плакала, разумеется. Он говорил, поедешь ко мне? Все рассыпается, падает пух, белые лепестки. Мы стояли на площади с друзьями, успевшими пожениться. Я уточнила, это предложение или вопрос? Вопрос. Тогда нет. Подруга смеялась, мол, истерию, но он понял, если не предложил, не пригласил меня, то я не поеду. Наше будущее летело с пирса в ледяную, в то крымское лето, воду, как горло, перехваченное судорогой, в перспективе слишком долго удерживаемого на педали аккорда. Пора уже отпустить, дугой приподнять кисти над клавишами, брызги с мола в лицо, как снегопад с другой стороны циферблата.

– И просто гуляли. По городу, отличной компанией, смеялись в трамвае по дороге в психушку. С нами все было в порядке, мы ездили навестить товарища, вот у него с мозгами было неровно, потом он повесился, один в пустой квартире, заставленной коробками с вещами, так и не разобранными за несколько месяцев после переезда. А тогда скорее косил от армии, а мы ехали к нему в гости звенящим утром, веселые, в трамвае, звенящем на перекрестках, и хохотали, висели на поручнях, как на гимнастических брусках, шли на руках от конца до начала вагона, без напряжения, пели что-то про стеклянные плоскости. А навстречу по тем же поручням, на руках, шли друзья, как по тонущей лодке, с обоих концов, спасаясь на середине, хохоча, вместе, обнявшись. Пассажиры трамвая негодовали, конечно, устроили безобразие в общественном транспорте, а мы хохотали, успокаивались и снова падали в смех, спасаясь на руках у друг друга. Выглядывали в окна, чтобы развеять смех, но снаружи не было ничего, гладкая слепая брусчатка, а смех отражался от стекол и возвращался к нам, запечатанным в банке текучего времени, с молчаливыми, неподвижными, ухватившимися за сиденья попутчиками с пустыми стеклами глаз. Мы уже вываливались из дверей, по-прежнему хохоча, и трамвай полз без нас, оставляя пару натертых



черных следов на камнях, пропадал между домов, и вороны галдели на крышах, следя, что еще вывалится из него. Чистая полоса, черным по серому, ни пятна алого или бордового, пока кого-то не начинало тошнить, обыкновенные дни на грани потери сознания, с ватой в ушах, в сосредоточении сухого молчания, пока не встретишься с другом, не разобьешь склянку тела под звон часов. За каменными воротами, за песчаным забором сад, где гуляют больные рассудком, на вид те же обыкновенные люди в полосатых пижамах, черным по серому, в сумерках поутру, простые речи, равнодушные взгляды, пожарные лестницы на крышу здания заколочены досками. Мы забрали приятеля погулять наружу, а потом возвратили обратно, оставив с книжками и новыми записями для кассетного магнитофона, песенками, которые все напевали в то лето.

– И кровь, кровь на пороге падения, губами в непрекращающуюся мелодию, шепчи, соприкосновение влажных губ, сквозь колючую изморозь, в солончаках рассвета, хрустящих под босыми ногами, откровение, которое длится, пока я его помню, пока вижу белый ковер в ветвящихся синих узорах, густое течение этой реки, в которую падают, уже утонули слезы, слова, расставания на перроне, поцелуи под зонтиком, дефицит папирос и закаты на крышах, закаты в лесу, закаты на пляже, отсутствие гигиены, блеск стрекочущих кадров, повторяющих двадцать четыре мгновенья в секунду похоть и страсть, почти как у нас, аметистовых кадров, обгоняющих, чтобы погаснуть, наши шаги в рассвет.

– Вы не волнуйтесь, просто болтаю, вы же не понимаете, о чем я. Мне бы хотелось, чтобы вы поняли, но нет уже сил. Ослабевает мысль, ослабевают слова, ослабевают, вы знаете, ночь. Нет крови над безутешным шпилем, растворилась, съеденная медузами, сожжена электричеством дней.

– А в ту новогоднюю ночь, в первый день года, когда я ускользала в сон, уткнувшись в катакомбы ткани и влажных пригорков, задыхаясь в уютной тьме, неуязвимая в замке его рук, под пересчет рельс, под вой проснувшихся электричек. На узкой тахте, в створке между рабочими днями, я теряла свой голос, проваливаясь в подземные люки, где копошились утлые ящеры, выплывая наружу одной этой комнатой, которую снимала подруга, окно сияло издалека, как в приборе ночного видения, при взгляде из электрички, согреться, проснуться, соединить секущиеся в хлам нити, набрать уже песок в то ведро, не ставить елку в обрывки газет, как посоветовала ему старуха на детской площадке по

соседству со снеговиками, и он застыл в изумлении, пока я не толкнула его, не увела наверх, к омерзительной польской водке и конечно салату. Воспоминания расползаются вместе с распадающейся страной, бетонная запруда, ухнувшая внезапно под песчаным селом, развалившаяся утопия, рассыпавшийся наконец замок мечтателя.

– Мы лежали с ним, выгадав целый день, первый день года, когда ребята уехали, и ночь длилась над рушащимся песочным городом, доминошными рядами роняющим улицу за улицей, от центра к окраинам, начиная с монументальных кариатид, хватающихся за животы, обнаружив внутри пустоту, не может быть, там дышал в камне новый камень, не одна пустота между атомами, подпалины обгоревших лесных угодий. Каменные громады шарили по отмелям, разыскивали прутья, хребты металлических младенцев внутри, не было новых камней, песок, дым, сажа, пыль.

– Могла бы сидеть здесь лет тридцать назад и есть эту курицу. Ну не эту, какую-нибудь другую жареную с чесноком курицу. Другие знаки на стенах. Другие цифры на тяжелом граните. Выпить и снова закашляться. Поддержать разговор о соседях. Напоследок старуха спросила: вы придете еще раз? Или мы больше вас не увидим? Я ответила вежливо скомкано. Разумеется, есть дела, важные встречи, скоро концерт, к которому нужно готовиться. Разумеется, не увидимся. Она наконец, замолчала, голосистая жирная дура. Засыпает, вздрагивая губой, наклонила голову, так что слеза затекает в ухо. Бедная девочка, нет никаких причин и никакого порядка в именах и событиях. Не гляди в зеркало, чтобы не встретиться со мной глазами, с той, кто рядом с тобой, кто нанизывает бусинки на карусель, пока она вращается с центростремительной силой вокруг пустоты. Нет никакого иного маршрута, нет любовного ритма, трамвай дребезжит на дороге, медлительные медузы сожрали уже башню и площадь, нет выбора, нет траекторий над прилизанными булыжниками. Разбежались кружевные лошадки, высохло море, утек в горловину песок до последней песчинки. Разрослась глициния над акведуком, ты думаешь, это ты приходила к нему, это я целую тебя в плечо, касаюсь губами щеки, чтобы стереть слезу, кровь на моих губах, ее шепот сквозь сон, кровь на пороге падения вытекает из раковины на колючую дорожную наволочку, блеск стрекочущих кадров, хрустящих под босыми ногами, страсть, похоть и смерть, я закрою твои глаза, девочка, бордовая круговерть в предрассветных солончаках.